

ДЕСЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ АНДЖЕЛО МАРИИ РИПЕЛЛИНО

Перевод Евгения Солоновича

Его стихи я впервые прочел по-русски — в переводах Заболоцкого, Мартынова и Слуцкого, больших русских поэтов. Все трое в 1957 году были участниками советско-итальянской поэтической встречи в Риме, где познакомились с Рипеллино и, вернувшись в Москву, перевели по подстрочнику для тоненькой книжки “Из итальянских поэтов” (Москва 1958) несколько его стихотворений: “Mattino”, “Profezia”, “Amleto”, “Tubi di pantaloni, scarpacce muffite...” (Борис Слуцкий), “Quest’anno a febbraio”, “Domenica” (Николай Заболоцкий) и “Il signo Iscanus” (Леонид Мартынов). Часть этих стихотворений не раз перепечатывалась в книгах Заболоцкого и Мартынова, в сборниках мастеров поэтического перевода. Однако в числе авторов “Итальянской лирики. XX век” (Москва 1968) Рипеллино не оказалось: реакцией на “I topi del regime” — статью, напечатанную в “Espresso”, стало включение его имени в черный список Главлита, верховного органа негласной советской цензуры.

Я встретился с Рипеллино в Москве и в Риме и считал бы лестным для себя сказать, что мы дружили, но это было бы преувеличением. Мы были в самых добрых отношениях, у нас были общие друзья, и когда я вспоминаю Анджело, то рядом с ним мысленно вижу тех из них, кто в разное время последовали за ним в иной мир. Помню, как в начале шестидесятых годов он весело пел с Катей Томашевской в коммуналке на улице Горького дуэты из “Травиаты”, как читал по-русски свои любимые строки из Пастернака:

О, знал бы я, что так бывает,
 Когда пускался на дебют,
 Что строчки с кровью — убивают,
 Нахлынут горлом и убьют!

Перевод нескольких стихотворений Анджело, предложенный мной для этого номера “Europa Orientalis”, я посвящаю его памяти и памяти наших с ним общих друзей — Николая Борисовича Томашевского и Марио Пикки. Это посвящение освобождает меня от необходимости защищать те или иные переводческие решения — возможно, далеко не всегда бесспорные.

ТРАНСВААЛЬ

“Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
ты вся горишь в огне...”

Он пел, но ветер не перекричать,
не хватит голоса. Сквозь ветки сосен
смотрела угловатая луна
глазами скучной рыбы.

“Трансвааль, Трансвааль”, — он пел не для кого,
для самого себя, для всех. А что?
Пел и не знал, как так, и получалось,
что просто пел, пел потому что пелось.
Не стоит удивляться. Облака
павлиний хвост со звездными глазками
картинно распускают. Жизнь исходит
печальными слезами, а любовь
вернуться рада бы меж тем к началу,
к первому взгляду, полнящему трепетом.

“Трансвааль, Трансвааль”, — он пел. Пустое имя,
как “счастье”, как “любовь”, как без разбора
все нежные слова, что больно ранят,
затерянные в лабиринтах памяти,
за толщей гор зеленого стекла,
за морем, пенящимся в бутылках, за
плакучими деревьями.

Из "LO SPLENDIDO VIOLINO VERDE"

34

Джудит интересуется книгами критиков.
Что бы ей посоветовать такого?
Я выпил лишку, друзья, и, вообразите,
не могу фамилии вспомнить ни одного пустослова.
Мне держать бы за руки Джудит,
гладить ее лицо не бояться
и, неся окоlesiцу, будь что будет,
неожиданно рухнуть в ее объятия.
И сказать ей тоном раненного бретера:
"Я и сам был когда-то критиком, моя ласточка,
и довольно злым – крыл чуть не всех без разбора,
но теперь, слава богу, критика умерла".

82

Была на свете страна, что вмещала в себя все страны на свете,
и в этой стране — деревня, что включала в себя все деревни страны,
и в этой деревне — улица, соединявшая все деревенские улицы,
и на этой улице, на этом гноище, — дом, сочетавший в себе все дома,
и в этом доме — убогая комната, и в комнате — высоченный стул,
и на стуле — человек, худенький, в котелке,
и этот человек был всеми людьми всех на свете стран
и этот человек смеялся, смеялся до слез.

Из "AUTUNNALE BAROCCO"

I, 33

Мы отвыкли давным-давно от сургучных печатей,
но все так же колотится сердце, когда письмо получаем,
не зная, что в нем и как в результате

отразится на нас его содержание.
Уверенно ждешь, бывает, добрых вестей,
в ожидании время мучительно тянется,
но конверт разорвешь — от уверенности твоей
ровным счетом ничего не останется.
От листочка бумаги зависим, —
что там почта опять принесла?
Лучше не распечатывать писем,
сразу прятать в ящик стола.

II, 44

Если снова мне будет двадцать,
ты придешь ко мне, как Варсавия
пришла когда-то к Давиду.
Золотые голуби воссияют
в ледяной синеве. Чаша губ твоих, тело твое
осчастливят меня. Этот путь для тебя открыт.
Да, но кто говорит,
что найдешь ты мою дорогу,
что придти ко мне пожелаешь,
неспособная представить меня
молодым сокрушителем туч?

II, 49

В доброе старое время на облаке ватном лежало
крупное яблоко. В доброе старое время
барочное зеркало отражало
свечу и свежую ветку сирени.
В доброе старое время была моя мама
с кофейной мельницей, зажатой между коленей,
и бубенцы прибора за пеленой тумана,

и зеленое ква-ква-ква лягушиных бдений.
В доброе старое время был синьор Боттичелли
с пестрым букетом весен в природной раме,
где горстка трепетных птиц выводила трели.
Домашнее было тепло холодными вечерами,
настой толутаново-мятно-лимонный,
сахарные куклы на допотопном комоду.
Дом нынче слеп, но фонарь, старый страж бессонный,
светит сверху ему при любой погоде.

II, 77

Дуэль. Снег неестественного света.
В потусторонний мрак туннелем узким
увозят убиенного поэта.
Поэт был африканцем петербургским.
В руках ничтожеств не дрожит оружие,
бездарности давно всерьез взялись за дело,
без промаха стреляет равнодушие,
ряды поэтов на земле редеют.
Растет число мемориальных досок
и новых памятников и домов-музеев.
Поэзию под корень пули косят:
поэты - психи, так, мол, им и надо!
В туннеле память зажигает фары,
последний путь — железная дорога,
глухие станции и полустанки
с названьями одно чудней другого,
где ожидают хилые фанфары
транзитный прах, готовясь оглушить останки
веселым стречным маршем,
слащавой здравицею павшим.

из “SCONTRAFFATTE CHIMERE”

Рассказ

Ивану Ивановичу, второму советнику
Советского посольства в Риме,
действует на нервы маска Гоголя,
висящая на стене.

Маска с выдающимся Носом
чудится ему огромным
больничным поильником.

Он подарил бы ее друзьям, но те не берут:
“Некуда вешать”.

Выбрасывает в окно — приносят обратно.
На склад современного художественного брака
не принимают.

Святое семейство отрещивается от нее.

Происки капитализма?
Или козни вице-консула?

...

Сам себе портной и закройщик, каждый перешивает
собственную жизнь — и не только лунными нитками.
Как мне сказал Арлекин, жизнь в последнее время —
все равно что костюм из цветных лоскутов, и на них-то,
на эти квадраты и ромбы садятся
черные бабочки, нарушая гармонию красок,
Прогоняя зловещих бабочек восвояси,
туда, откуда исходят напасти,
мы очищаем ткань, чтобы лебеди
весело плавали по ромбовидным озерам

вдоль причудливых швов, по кромке
обтрепанных обшлагов и счастливыми голосами,
хоть и резко звучащими, повторяли
небылицы, завораживали, баюкали.
Под этот гомон мы засыпаем,
и костюм начинает переливаться
блестками и мишурой, из которой
будут сотканы сказочные видения.
Ну а руки останутся красными
от киновари зимы, и худые
башмаки будут чавкать привычно
по маслянистой брусчатке.

из "ALTRE POESIE"

Плач старой скрипки

Я играю, потому что не хочу умирать.
Знаю, и без моей игры продолжали бы
двигаться и туфли на шпильках, и туго
нафаршированные киты-трамваи,
и ходячие портупей.
И тем не менее у распахнутого окна
я играю бравурное что-нибудь
или скорбное, и не важно, что дела
нет никому до меня, изношенной деревяшки,
до кваканья усталой лягушки.
Без моей игры мир не стал бы ни лучше, ни хуже,
но мне нельзя, нельзя не играть,
не тешить себя, что жизнь продолжается, даже
если эти пеликаны внизу
переваливаются, не замечая меня.
Мой взгляд, синьор Шервуд, прикован к жизни,
словно к ледяной ослепительной бездне,
и я играю, пусть хрипло, играю, чтоб выжить.

